



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
КНИГА 3. ХМУРОЕ УТРО

Литрес 

Хождение по мукам

Алексей Толстой

**Хождение по мукам.
Книга 3. Хмурое утро**

«Public Domain»

1941

Толстой А. Н.

Хождение по мукам. Книга 3. Хмурое утро / А. Н. Толстой —
«Public Domain», 1941 — (Хождение по мукам)

ISBN 978-5-4467-1788-0

«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир. Выдающееся произведение А.Н.Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.

ISBN 978-5-4467-1788-0

© Толстой А. Н., 1941

© Public Domain, 1941

Содержание

1	5
2	12
3	17
4	24
5	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Жить победителями или умереть со славой...
Святослав

1

У костра сидели двое – мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из-под вязаного платка, опущенного на глаза ее, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы.

Огонь костра был не велик, горели сухие лепешки навоза, которые мужчина давеча подобрал – несколько охапок – в балке у водооя. Было нехорошо, что усиливался ветер.

– Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грунта у окошечка... Ах, боже мой, тоска, тоска степная...

Мужчина проговорил это не громко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми холмами, осенний закат, – он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынной и бездомной степи.

– Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселия души и тела... Боже мой, что бы вы без меня делали?

Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, – вертел их и так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бекеша. У него было красноватое, невероятно хитрое – скорее даже лукавое – лицо, с мясистым, на конце приплюснутым носом, скудно растущая борода, растрепанные усы, причмокивающие губы.

– Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна, дикости в вас мало, цепкости мало, а цивилизация-то поверхностная, душенька... Яблочко вы румяное, сладкое, но недозревшее...

Он говорил это, возясь с картошками, – давеча, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жара костра, мудро и хитро подергивал ноздрей. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефедов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей.

Знакомство их произошло несколько дней назад, в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту и спущенном белыми казаками под откос.

Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как, по обычаю того времени, надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами.

Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше, – чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь, на рассвете, в пустынной степи, Даша сама схватилась за него. Положение было отчаянное: там, где под откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики, потом разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было идти в тысячеверстную даль?

Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма: «Вы мало того что испуганы, вы, красавица, несчастны, как мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни – паче того – скуки... Был попом, за вольнодумство расстрижен и заточен в монастырь. И вот, брожу „меж двор“, как в старину говорили. Если человеку для

счастья нужна непременно теплая постелька, да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, – такой не узнает счастья... Для такого оно всегда – завтра, а в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого – вечное увы... Вот я иду по степи, ноздри мои слышат запах печеного хлеба, – значит, в той стороне хутор, услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой! Видишь, как занимается рассвет! Рядом – спутник в ангельском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? – счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? – пестрый мир, где столкновение страстей... Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все, должен вам сказать... Вот и сдунуло ее ветром, вот и – увы! – пустое место... А я, расстрига, иду играючись и долго еще намерен озорничать...»

Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Когда на восходе солнца они добрались до хутора, стоящего в голой степи, без единого деревца, с опустевшим конским загоном, с обгоревшей крышей глинобитного двора, – их встретил у колодца седой злой казак с берданкой. Сверкая из-под надвинутых бровей бешено светлыми глазами, закричал: «Уходите!» Кузьма Кузьмич живо оплел этого старика: «Нашел поживу, дедушка, ах, ах, земля родная!.. Бежим день и ночь от революции, ноги прибили, язык от жажды треснул, сделай милость – застрели, все равно идти некуда». Старик оказался не страшен и даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова, две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили красные – мобилизовали коня. Проходили белые – мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе, с краюшкой прозеленевшего хлеба, да трет прошлогодний табак...

Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли ночью, днем спали, – чаще всего в прошлогодних ометах. Населенных мест Кузьма Кузьмич избегал. Глядя однажды с мелового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил:

– В массе человек в наше время может быть опасен, особенно для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непонятно это и подозрительно: не знать, чего хотеть. Русский человек горяч, Дарья Дмитриевна, самонадеян и сил своих не рассчитывает. Задайте ему задачу, – кажется, сверх сил, но богатую задачу, – за это в ноги поклонится... А вы спуститесь в станицу, с вами заговорят пытливо. Что вы ответите? – интеллигентка! Что у вас ничего не решено, так-таки ничего, ни по одному параграфу...

– Слушайте, отстаньте от меня, – тихо сказала Даша.

Сколько она ни крепилась, – от самолюбия и неохоты, – все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все: об отце, докторе Булавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, «прелестной, кроткой, благородной». Однажды, на склоне ясного дня, Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалывшиеся под вязаным платком, потом поела, повеселела и неожиданно сама, без расспросов, рассказала:

– ...Видите, как все это вышло... У отца в Самаре я больше жить не могла... Вы меня считаете паразиткой. Но – видите ли – о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы... Но я не могу чувствовать себя приниженой, последней из всех...

– Понятно, – причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич.

– Ничего вам не понятно... – Даша прищурилась на огонь. – Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений... Ну, а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот после этого свиданья я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца... Потому что он во всем виноват... Что за смешной и ничтожный человек! Я решила уехать в Екатеринослав, разыскать сестру, Катю, – она бы поняла, она бы мне помогла: умная, чуткая, как струнка, моя Катя. Не усмехайтесь,

пожалуйста, – я должна делать обыкновенное, благородное и нужное, вот чего я хочу... Но я же не знаю, с чего начать? Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию...

– А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать, слушаю внимательно и сердечно сочувствую.

– Ну, сердечно, – это вы оставьте... В это время Красная Армия подошла к Самаре... Правительство бежало, – очень было гнусно... Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор, – проявили себя во всей красе – он и я... Отец послал за стражниками: «Будешь, милая моя, повешена!» Конечно, никто не явился, все уже бежало... Отец с одним портфелем выскочил на улицу, а я в окошко докрикивала ему последние слова... Ни одного человека нельзя так ненавидеть, как отца! Ну, а потом с головой в платок, – на диван и реветь! И на этом отрезана вся моя прошлая жизнь...

Так они шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной сел и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события: семидесятипяти тысячная армия Всевеликого Войска Донского, после августовских неудач, во второй раз шла на окружение Царицына.

Ковыряя в золе картошку, Кузьма Кузьмич говорил:

– Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали неудачное. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше поплетемтесь-ка потихоньку под звездами. До чего хорош мир! – Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя: все ли в порядке в небесном хозяйстве? – Разве это не чудо из чудес, душенька: вот ползут две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя своей совести... Нет, не торопитесь поскорее окончить путешествие.

Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони картошку, дунув на пальцы, разломил ее и подал Даше.

– Я прочел огромную массу книг, и этот груз лежал во мне безо всякой системы. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении личности, выданном мне одним умнейшим человеком – саратовским начальником районной милиции, у которого я просидел недельки две под арестом, – проставлено им собственноручно: профессия – паразит, образование – лженаучное, убеждения – беспринципный. И вот, Дарья Дмитриевна, когда я очутился с одним мешочком соли в кармане, абсолютно свободный, я понял, что такое чудо жизни. Беспольные знания, загромождавшие мою память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже в смысле меновой стоимости... Например – изучение человеческой ладони, или хиромантия, – этой науке, исключительно, я обязан постоянным пополнением моего солевого запаса.

Даша не слушала его. Оттого ли, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, – ей очень хотелось плакать, и она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Бездна охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверно, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи... Нет, нет!.. Взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами... Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда, в Петрограде: «Прошлое погубило, погубило навсегда, Даша».

– Помимо полнейшей оторванности от жизни, – бесцельная торопливость, ерничество – один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна... Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии, – какой-нибудь либерал топчет козыми ножками в нетерпении, точно его жжет... Куда, зачем?..

Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился.

– Нет, надо идти, конечно, пойдёмте, – сказала Даша, изо всей силы затягивая вязанный платок на шее. Кузьма Кузьмич пылливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы...

Едва только раздались первые выстрелы, – ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь к гривам, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага.

Все пронеслось, и все стихло. Только отчаянно билось Дашино сердце. Из оврага что-то начали кричать – и тотчас повалили оттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом: «Эй, кто такие?» Кузьма Кузьмич поднял руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели. «Вы что тут делаете?» Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра. «Разведчики? Белые?» И, не дожидаясь, он ткнул Кузьму Кузьмича прикладом: «Давай, давай, расскажешь по дороге...»

– Да мы, собственно...

– Что, собственно! Не видишь, что мы в бою!..

Кузьма Кузьмич, не протестуя далее, зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряженных телег. Какой-то человек остановил отряд окриком. Бойцы окружили его, заговорили:

– Отступили. Невозможно ничего сделать. Жмут, гады, с флангов... Вот тут совсем неподалеку в балочке – напоролись на разъезд.

– Драгнули, хороши, – насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. – Где ваш командир?

– Где командир? Эй, командир, Иван!.. Иди скорей, командующий полком зовет, – раздался голоса.

Из темноты появился высокий сутуловатый человек:

– Все в порядке, товарищ командир полка, потерь нет.

– Размести посты, выставь охранение, бойцов накормить, огня не зажигать, после придешь в хату.

Люди разошлись. Хутор как будто опустел, только слышалась негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ивы на берегу прудка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это – девушка... «Идите за мной, – сурово сказал он и повел их в хату. – Обождите в сенях, сядьте тут на что-нибудь».

Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато-низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмича. «Ничего, выпутаемся», – шепнул он. Дверь опять отворилась, и красноармеец, нащупав рукою обоих сидящих, повторил: «Идите за мной». Он вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь, красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Даша сказала с тихим отчаянием:

– Можно сесть рядом с вами, я боюсь мышей.

Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге. Красноармеец вдруг зевнул сладко, по-ребячьи, покосился на Дашу:

– Значит – разведчики?

– Слушайте, товарищ, – Кузьма Кузьмич из темноты придвинулся к нему, – позвольте вам объяснить...

– После расскажешь.

– Мы же мирные обыватели, бежавшие...

– Эге, мирные... Это как же так – мирные? Где это вы мир нашли?

Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, глядя на темнобровое, красивое лицо этого человека, с тонким очертанием приподнятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбородка, – неожиданно спросила:

– Как вас зовут?

– Это к делу не относится.

– Вы – женщина?

– Вам от этого легче не станет.

На том разговор бы и кончился, но Даша не могла оторвать глаз от этого чудного лица.

– Почему вы разговариваете со мной, как с врагом? – тихо спросила она. – Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я – враг? Я такая же русская женщина, как и вы... Наверно, только больше вашего страдала...

– Как это – русская?.. Откуда это – русское?.. Буржуи, – с запинкой и от этого нахмурясь, проговорил красноармеец.

У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Этого красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу... Поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо.

– Это вы оставьте, – сказал угрожающе. – Это вам, гражданка, не поможет...

– Что, что мне поможет? – страстно ответила Даша. – Вы вот нашли, что делать, а я не нашла... Я без памяти убежала от той жизни. Убежала за своим счастьем... И мне завидно... Я бы тоже так – перетянула ремнем шинель!

Она так взволновалась, что откинула с головы платок, изо всей силы стискивала в кулачках его концы.

– У вас все ясно, все просто... Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды... Я тоже хочу такого счастья...

Она говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущенный этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел ротный командир и пробасил:

– А ну, Агриппина, давай сюда гадов.

Командир полка, с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный, как кора, – оба в шинелях и картузах, – сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе.

– Почему были в степи в расположении войск?

Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами:

– Он расскажет. Можно – я сяду?

Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плавающий в глиняном черепке. Кузьма Кузьмич, причмокивая, переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он заговорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели, как две глыбы.

– Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназначенный к совершению высоких задач, – как Орфей струнами лиры оживлять камни и умирять бешенство дикой природы, – человек этот при коптящем ночнике муслил кредитки и ум, как бы ловчее объегорить соседа... Спасибо вам, – разбили убогое житие, будь ему нелегкая память... Муслить больше стало нечего, хочешь не хочешь – перестраивайся на высокие темы... В доказательство моей искренности – вот... (Он вытащил мешочек с солью.) Вот единственная моя собственность, больше мне ничего не надо, остальное или прошу или ворую. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить... Боретесь вы счастья ради человека, а человека-то часто забываете, он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека, не делайте из нее умозрительной философии, ибо философия – дым: приняв чудный облик, он исчезает... Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины: в ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством, с жадой... Ведь это вселенная ходит перед вами в драной бекеше и в опорках.

– Хитро загнуто, – пустив дымок, сказал командир полка.

– А ну, покажите документы, – вслед за ним сказал ротный. Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даши паспорта, он придвинул светильню и низко нагнулся, мусоля палец, осторожно перелистывая паспортные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны.

– Кто ваш отец? – спросил ротный у Даши.

– Доктор Булавин.

– Это, что же, не министр бывшего самарского правительства?

– Да.

Ротный взглянул на командира полка и протянул ему Дашин паспорт. Хмурясь, спросил у Кузьмы Кузьмича:

– Вы, что же, сами – из жеребьячьего сословия?

Кузьма Кузьмич, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом зашаркал опорками:

– Дважды был изгоняем из семинарии – за осквернение пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины. Дальнейший послужной список приложен при паспорте...

Не слушая его, ротный покосился на Дашу:

– Тяжелое ваше дело... Придется вам рассказать всю правду. – Он сморщился и закричал, листая паспорт. – Это еще, пожалуй, может вас выручить. Да, тяжелое дело.

Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Агриппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством:

– Иван, ей можно верить, я с ней говорила...

Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным, веселым лицом. Ротный проговорил медленно:

– Это – где мы, на посиделках? (Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза сощурились.) Красноармеец Чебрец, на каком основании встречаете в допрос?..

Агриппина даже задышала от злости; не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе... Но он пробасил:

– Красноармеец Чебрец, выдь за дверь.

Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в карман за табаком.

– Так, значит, и тут успели, агитировали?...

Опустив голову, Даша ответила:

– Я прошу мне верить. Если не верите, – мне незачем говорить. Мой отец, Булавин, ваш враг, он и мой враг... Он хотел меня казнить, я убежала из Самары...

Ротный развел большими руками перед светильней:

– Гражданка, как же вам верить, вы же сказки рассказываете.

Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтер ее об рукав и сказал солидно:

– Не горячись, Гора, она, может, дело говорит... Ваша фамилия Телегина? (Даша – чуть слышно: «Да».) Имя, отчество вашего мужа помните?

– Иван Ильич.

– Штабс-капитан царской службы?

– Кажется... Да...

– Был ротным командиром в Одиннадцатой Красной армии?

– Вы его знаете?

Даша кинулась к столу, щеки ее залил румянец; только что сидела увядшая, мертвая, – расцвела.

– Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам... Вот как это было...

– А вы сядьте, успокойтесь, – сказал командир полка. – Знаю Ивана Ильича, вместе были в германской войне, вместе ушли из плена. Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич, может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной Армии его хорошо знают. – Он повернулся к ротному: – Жинка твоя правильнее тебя этот орешек раскусила. – И – Даше: – Отдохнете, завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдете в сени, там будет кухня. Спите спокойно.

Даша и за ней Кузьма Кузьмич, – которого командиры как будто перестали замечать, – вошли через сени в тепло натопленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь: «Косточки прогреете, в одну ночь за неделю отоспитесь. Дайте-ка я вас, душенька, посажу...»

Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо, пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тырчал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу: сон только пленкой покрывал ее, сверчок – тырк, тырк – простегивал ее сон серой строчкой...

То ей представлялось, что стучит метроном, она сидит у рояля, в оцепенении опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется, но не шаги любимого, обожаемого, – снова слышно тырканье сверчка – стежка за стежкой.

«Какой покой, какой покой, – повторял в ней голос... – Вернулась на родину, бедная Даша... Но ты же никогда не знала родины. Даша, Даша... Ах, не мешайте мне... Ну, конечно, это дирижер стучит костяной палочкой, сейчас раздастся музыка...» И снова – тырк, тырк...

Кузьма Кузьмич пристроился на лавке под печкой и тоже не мог сразу заснуть, – причмокивая, бормотал:

– Поверили, поверили... Простые сердцем... На их месте я бы так скоро не поверил, – почему? Сам себя не знаешь, темен человек... Поверили – сильные люди всегда просты... В этом их сила. Теперь-то уж нам паспорт дан, – поверили. Ну да, вам нужен смысленый человек? Революции он нужен? Нужен... Вот вам – я... Дарья Дмитриевна... Я спрашиваю – революции нужен смысленый человек?..

2

Иван Ильич Телегин, после военных операций под Самарой, получил новое назначение.

Десятая Красная армия в августовских боях под Царицыном израсходовала и без того скудное боевое снаряжение. На запросы и требования – снабдить Царицын всем необходимым перед неминуемым новым наступлением Донской армии, Высший военный совет республики отвечал с крайней медлительностью и неохотой. Но в Москве сидел боевой товарищ командарма Ворошилова, посланный туда со специальной задачей – толкать и прошибать непонятную медлительность и писарскую волокиту снабженческих учреждений Высшего военного совета. Ему удавалось перебрасывать кое-что для царицынского фронта.

Ивану Ильичу было поручено погрузить в Нижнем на буксирный пароход ящики со снаряжением и две пушки и доставить их в Царицын. Снова, как этим летом, как много лет тому назад, он плыл по ленивой, необъятно могущественной пустынной Волге. Низенький коричневый буксир шлепал колесами по безветренной воде. Впереди всегда виднелся берег, будто там и кончалась река, – за широким поворотом открывалась новая даль, глубокая и ясная под осенним солнцем. В эти месяцы Волга была очищена от белых, все же пароход держался подальше от берегов, где над крутизной раскидывалось потемневшими срубам большое село, или на лысом бугре сквозь золотую листву виднелась колоколенка, откуда удобно резануть из пулемета.

Десять балтийских моряков балагурили на корме около пушки. Там же обычно полеживал на боку и Иван Ильич, – то охая и обмирая, то до слез хохоча над их рассказами. Слушатель он был простой, доверчивый, а моряку другого и не нужно: только гляди ему в рот.

Ежедневно самый молодой из моряков, комсомолец Шарыгин, высокий и степенный, шел к судовому колоколу и бил аврал: все наверх! Моряки садились в круг, из люка вылезал машинист, старичок, потерявший в революцию, говорят, не малые деньги; высовывался до пояса из люка кочегар, неуживчивый, озлобленный человек; из камбуза, вытирая руки, появлялась женщина-кок. Шарыгин садился на свернутый канат, самоуверенным голосом начинал просветительную беседу. За молодостью лет он не успел много прочитать, но успел понять главное. Под матросской шапочкой носил он темные кудри, были у него светлые красивые глаза, и только подгадил нос – маленький, торчком, попавший, казалось, совсем из другой организации.

Задача его была нелегкая. Моряки понимали революцию как люди, давно оторванные от своего хозяйства, от горемычной сохи, от рыбацкой лодки на Поморье. Прошли они тяжелую флотскую службу; когда настал час, – выкинули офицеров за борт и подняли флаг всемирной революции. Мир они видали, обегали его. Это была вещь широкая, понятная морской душе. Раньше все имущество моряка было в сундучке. Теперь нет и сундучка, теперь хозяйство моряка – винтовка, пулеметная лента да весь мир... Будь сейчас времена Степана Разина, каждый бы из них, загнув на ухо шапку с алым верхом, пошел бы – во весь размах души – вольно гулять по необъятным просторам, оставляя позади себя зарево до самого неба... «Эй, царские, боярские холопы, горе-несчастье, голь кабацкая, дели землю, дели золото, – все твое, живи!..» Пролетарская революция потребовала от них программы более сложной, потребовала ограничения размаха чувств.

– Революция, товарищи, это – наука, – самоуверенным голосом говорил им Шарыгин. – У тебя хоть семь пядей во лбу – не превзошел ее, и ты всегда сделаешь ошибку. А что такое ошибка? Лучше ты отца с матерью зарежь: ошибка приведет тебя к буржуазной точке зрения, как мышь в мышеловку, – влетел и сиди, грызи хвост, все твои заслуги зачеркнуты, и ты – враг...

Моряки ничего на это не могли возразить, – без науки и корабля не поведешь, не то что справиться с этакой контрреволюцией. Разве кто-нибудь, обхватив татуированными могучими руками колено, спрашивал:

– Хорошо, ты вот на что ответь: без таланта и печь в бане не сложишь, без таланта тесто у бабы не взойдет. Нужно это?

Шарыгин отвечал:

– Видите, товарищи, куда загибает Латугин? Талант – это вещь, нам свойственная, это вещь опасная. Она может человека привести к буржуазному анархизму, к индивидуализму...

– У, понес, – безнадежно махал на него рукой Латугин. – Ты сперва эти слова разжуй да проглоти, да до ветру ими сходи, тогда и употребляй...

А кочегар сердито хрипел из люка:

– Талант, талант! Ногти насандалит, штаны – клешем, на шее – цепочки... Видали вашего брата... Талант!

Тогда среди моряков поднимался ропот. Кочегар, прохрипев насчет того, что «вам бы годиков десять попотеть у кочегарки», от греха скрывался в машинное отделение. Шарыгин беспрестанно улаживал грозно возникающую зыбь. «Действительно, – говорил он, – есть среди нас такие товарищи с насандаленными ногтями, но это отброс. Они добром не кончат. Есть и зараженные эсерами. Но вся масса моряков беззаветно отдала себя революции. Про талант надо забыть, его надо подчинить. Гулять будем после, кто жив останется. Я лично – не рассчитываю...»

Шарыгин встряхивал кудрями. Некоторое время было слышно, как журчала вода под кормой. Суровость слов хорошо действовала на слушателей. Русский человек падок до всего праздничного: гулять – так вволю, чтобы шапку потерять; биться – так уж не оглядываясь, бешено. Смерть страшна в будни, в дождь без просвета, – в горячем бою, в большом деле смерть ожесточает, тут русский человек не робок, лишь бы чувствовать, что жизнь горяча, как в праздник; а шлепнет тебя вражеская пуля, налетел на сверкнувший клинок, – значит, споткнулся, в широкой степи раскинул руки-ноги, захмелела навек голова от вина, крепче которого нет на свете.

Морякам нравились эти слова Шарыгина, что живым он быть не рассчитывает. И они прощали ему и книжную речь, и юношескую самоуверенность, и даже вздернутый носишко его казался подходящим. А он рассказывал о хлебной монополии, о классовой борьбе в деревне, о мировой революции. Сизоусый машинист, полузакрыв глаза, сложив пальцы на животе, кивал утвердительно, особенно в тех местах, когда Шарыгин, сбиваясь с мысли, начинал выражаться туманно. Женщина-кок, Анисья Назарова, взятая в прошлый рейс в Астрахани, никогда не садилась с мужчинами, стояла в сторонке, глядя на уплывающие берега. Истощенное страданиями молодое лицо ее, с выпуклым лбом, с красивыми пепельными волосами, окруженными косой вокруг головы, было покойно и бесстрастно, лишь иногда в горле ее с трудом катился клубок.

Телегин также принимал участие в этих беседах, – рассказывая про военные дела, чертил мелом на палубе расположение фронтов.

– Контрреволюция, как видите, товарищи, задумана по единому плану: окружить Центральную Россию, отрезать ее от снабжения хлебом и топливом и сдавить. Контрреволюция поднимается на окраинах, на тучных землях. На Кубани, например, полтора миллиона казаков и столько же – крестьян-арендаторов. Между ними вражда не на живот, а на смерть. Деникин это отлично учел и с горстью офицеров-добровольцев смело кинулся в самое пекло, – разгромил стотысячную армию прохвоста Сорокина, которого в самом начале надо было расстрелять за анархию и дикую жажду предательства, – и сейчас Деникин создает себе крепкий тыл, помогая казакам вырезать красных на Кубани. Деникин умный и опасный враг.

Моряки глядели на Телегина, ноздри у них раздувались, синие жилы проступали под смуглой кожей. А машинист все кивал: «Так, так...»

– У атамана Краснова задача много уже, – потому что казаков за границы Дона поднять трудно. Знаете поговорку: потому казак гладок, что поел – да на бок. Казак удал, когда дерется за свою хату. Но зато красновская контрреволюция в настоящее время для нас опаснее всех. Если мы будем оттеснены от Волги и потеряем Царицын, Краснов и Деникин соединятся со всей сибирской контрреволюцией. На наше счастье, между Красновым и Деникиным договоренности полной нет. Донцы называют добровольцев «странствующими музыкантами», а добровольцы донцов – «немецкими проститутками»... Но этим нечего утешаться. Плану контрреволюции мы должны противопоставить свой большой план, а это, в первую голову, правильная организация Красной Армии, без партизанщины на колесах...

Шарыгин, ревниво поглядывая на Телегина, вставлял:

– Вот это правильно... Итак, товарищи, мы вертаемся к тому, с чего я начал... Что ж такое революционная дисциплина?..

В одну из таких бесед Анисья Назарова, неожиданно протянув перед собой, как слепая, руку, сказала ровным голосом, но таким значительным, что все обернулись к ней и стали слушать:

– Извините, товарищи, что я вам скажу... Вот про такие дела я вам расскажу...

Рано утром, чуть завиднелось, Анисья Назарова пошла доить корову. Но только открыла теплый хлев, откуда из темноты просительно замычала Буренка, – послышались выстрелы из степи. Анисья поставила ведро, поправила на голове платок. Сердце у нее билось, и когда пошла к калитке, ноги обмякли. Все же она приоткрыла калитку, – по станичной улице бежали люди за тачанкой, на ходу влезая в нее. Выстрелы теперь слышались ближе и чаще, и со стороны степи, и со стороны пруда, и с одного конца широкой улицы, и с другого. Тачанка с товарищами из станичного Совета не успела скрыться, – ее окружили верхоконные. Они крутились, как собаки, когда рвут собаку, стреляли и рубили шашками.

Анисья закрыла калитку, перекрестилась и пошла было за ведром, но вдруг ахнула и кинулась в хату, где спали дети – Петруша и Анюта. Глядя их по головкам, шепча на ухо, она разбудила их, одела и повела на двор за коровий сарай, где стояла скирда кизяков, сложенная высоким муравейником, внутри пустая. Анисья разобрала несколько кизячных плиток и велела детям залезть в скирду и там сидеть, не подавать голоса.

Теперь вся улица гудела под конскими копытами, раздавались окрики, звякало оружие. Наконец в ворота Анисьиного двора начали бить прикладом: «Отворяй!» И когда Анисья открыла, ее схватили двое станичников, горячих от самогона. «Где Сенька Назаров, где муж, говори – шлепнем на месте». А муж Анисьи – не казак, иногородний – был в Красной Армии, и она даже не знала, жив ли он теперь. Так она и сказала, что не знает, где муж, – летом какие-то люди его увели. Бросив трепать Анисью, казаки вошли в хату, там все перевернули, переломали и, выйдя, опять схватили Анисью и поволокли на улицу к станичному Совету, где прежде жил атаман.

Солнце уже было высоко, а станица стояла с закрытыми ставнями и воротами, – будто и не просыпалась. Только перед Советом крутились станичники на конях и подходили пешие, ведя связанных, иных избитых в кровь, крестьян и казаков. Потом узналось, что брали по списку, всех, кто еще весной голосовал за советскую власть.

В атаманской избе сидел непрспаный офицер с нашитой на рукаве мертвой головой и двумя костями. И рядом с ним – хорошо всем известный хорунжий Змиев, полгода тому назад бежавший из станицы. О нем все и думать забыли, а он – вот он, с висячими усами, налитой, здоровый, красный, как медь. Когда Анисью впахнули в избу, хорунжий кричал арестованным, – а их под охраной стояло здесь более полусотни:

– Краснопузая сволочь, помогла вам советская власть? Ну-ка рассказывайте теперь, чему вас научили московские комиссары?..

Офицер, глядя в список, говорил тихо каждому, кого вытаскивали к столу:

– Имя, фамилию признаешь? Так. Сочувствуешь большевикам? Нет? Голосовал в мае месяце? Нет? Значит, врешь. Всыпать. Следующий, казак Родионов. – И поднимал бледные, пегие, как у овцы, глаза: – Стать по форме, глядеть на меня! Был делегатом на крестьянском съезде? Нет? Агитировал за Советы? Опять нет? Значит, врешь полковому суду. Налево! Следующего...

Станичники подхватывали людей и, столкнув с крыльца, валили на землю, сдергивали шаровары, заголяли, один садился на дергающиеся ноги, другой коленями прижимал голову, и еще двое, вытащив из винтовок шомпола, били лежащего, – со свистом, наотмашь.

Офицер не мог уже разговаривать тихим голосом, – так страшно выли и кричали люди за окнами. Экзекуцию обступила толпа конных и пеших станичников из налетевшего отряда и тех из местного казачества, кто выскакивал из хаты навстречу отряду, крича: «Христос воскрес!..» Они тоже орали и матерились: «Бей до кости! Бей до последней крови! Будут знать советскую власть!»

Наконец в атаманской избе остались только Анисья и молоденькая учительница. Она приехала в станицу по своей охоте, все старалась просветить местных жителей: собирала женщин, читала им Пушкина и Льва Толстого, с детишками ловила жуков, – это в такие-то времена ловить жуков!

Хорунжий Змиев закричал на нее:

– Встать! Жидовская морда!

Учительница встала, некоторое время беззвучно трясла губами.

– Я не еврейка, вы это хорошо знаете, Змиев... И если бы даже была еврейкой, – не вижу в этом преступления...

– Давно в коммунистической партии? – спросил офицер.

– Я не коммунистка. Я люблю детей и считаю долгом учить их грамоте... В станице девяносто процентов не умеющих читать и писать, вы представляете...

– Представляю, – сказал офицер. – А вот мы вас сейчас выпорем.

Она побелела, попятилась. Хорунжий заорал на нее: «Раздевайся!» Хорошенькое личико ее задрожало, она начала расстегивать клетчатое пальтишко, стащила его, как во сне...

– Слушайте, слушайте! – И замахала на офицера рукой. – Да что вы, что вы! – А за окном кто-то нестерпимо затынул истошным голосом. А хорунжий все свое: «Снимай панталоны, стерва!»

– Мерзавец! – крикнула ему учительница, и глаза ее загорелись, лицо залилось гневным румянцем. – Расстреливайте меня, звери, чудовища... Вам это так не пройдет...

Тогда хорунжий схватил ее, приподнял и грохнул об пол. Два станичника задрали юбку, прижали ей голову и ноги, офицер не спеша вылез из-за стола, взял у казака плетку, на серое лицо его напозла усмешка. Занеся плетку, он сильно ударил девушку по стыдному месту; хорунжий, перегнувшись со стула, громко сказал: «Раз!» Офицер не спеша сел, она молчала... «Двадцать пять, довольно с тебя, – сказал он и бросил плетку. – Иди теперь, жалуйся на меня окружному атаману». Она лежала, как мертвая.

Станичники подняли ее и унесли в сени. Очередь дошла до Анисьи. Офицер, подтягивая кавказский пояс, только мотнул головой на дверь. Анисья, обезумев от ненависти, начала выбиваться, – когда ее потащили, хватала за волосы, выламывалась, кусала руки, била коленками. Вырвалась и, простоволосая, ободранная, сама кинулась на станичников и потеряла сознание, когда ее ударили по голове. Ей спустили кожу со спины шомполами и бросили у крыльца, – должно быть, думали, что скверная баба кончилась.

Карательный отряд ротмистра Немешаева навел в станице порядок, поставил атамана, нагрузил несколько подвод печеным хлебом, салом и кое-каким реквизированным барахлом и ушел. Весь день станица стояла тихая, – не топили печей, не выпускали скотину. А ночью занялось несколько иногородних дворов, в том числе запылал Анисьин двор.

Соседи побоялись тушить пожар, потому что, когда показался первый огонь на краю станицы, туда поскакало несколько казаков и были слышны выстрелы. Анисьин двор сгорел дотла. Только наутро соседи спохватились: а где же ее дети? Дети Анисьи, Петруша и Анюта, сидевшие до ночи в кизяковой скирде, и корова, овцы, птица – сгорели все.

Добрые люди подобрали Анисью, стонущую в беспомощности у атаманова крыльца, положили ее у себя и выходили. Когда, спустя несколько недель, она стала понимать, – рассказали ей про детей. В станице Анисье делать больше было нечего, – так она и сказала добрым людям. Была уже осень. От мужа – никаких вестей. Жить ей не хотелось. Она ушла, – от станицы к станице, побираясь под окнами. Добралась до железной дороги и попала, наконец, в Астрахань, где ее взяли на пароход коком, потому что в прошлый рейс кок сошел на берег и не вернулся.

Такой случай из своей жизни рассказала Анисья Назарова.

– Спасибо вам, товарищи, – сказала она, – узнайте мое горе, спасибо вам...

Вытерла передником глаза и ушла в камбуз. Моряки, обхватив жилистыми руками колени, нахмурясь, долго еще молчали. Иван Ильич отошел и лег в сторонке. Сдерживая вздохи, думал: «Вот встречаешь человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед тобой, как целое царство в дымящихся развалинах...»

Понемногу от впечатлений рассказа этой женщины он перекинулся к своим огорчениям, – их он глубоко прятал от всех, от самого себя в первую очередь. Мало у него было надежды когда-нибудь еще раз встретиться с Дашей. Правда, человек живуч, ни один зверь не вынесет таких ран, таких бедствий. Но ведь пространство-то какое! Где теперь искать Дашу в потоке миллионов, хлынувших на восток. Старый дурень, доктор Булавин, чего доброго, еще махнет с ней за границу.

Покачивая головой, вздыхая от жалости, он вспоминал Дашины пристрастия к душевному комфорту, к изяществу, ее холодноватую пыльность, как кипение ледяного вина. «Не по силам ей было, не по силам... Выращена в теплице, и – на вот тебе – подул такой мировой сквознячище... Бедная, бедная, тогда в Питере, после смерти ребенка, отказывалась жить, – угасала в холодных сумерках...»

О том, что случилось с ней после Питера, Иван Ильич знал только по наспех прочитанному ее письму. Несомненно, Даша много пережила после Питера, многое поняла... С какой страстью тогда, спасая его от сыщиков, подтащила к окошку: «Верна буду тебе до смерти. Беги, беги...» Запах ее тонких русых волос, когда прильнула к нему, Иван Ильич не забыл и никогда не забудет. Странная, чудная, обожаемая женщина... «Ну, что ж, на том и покончим с воспоминаниями...»

Погода начала портиться. Волга потемнела, с севера поднялись гряды скучные, холодные тучи, засвистел ветер в тросах низенькой мачты. Не пришвартовываясь, проплыли Камышин, захолустный деревянный городок с оголенными садами на холмах. Сейчас же за Камышином начинался царицынский фронт.

3

Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном, ветер подхватывал пыль, вихрями застилал деревянные домишки, – они тесно и кое-как – то задом к реке, то передом – вместе с нужниками и заводами громоздились на сыпучих обрывах. Иван Ильич пробирався вверх по крутой улице, где булыжники были выворочены дождевыми потоками. На набережной, на скрипящих пристанях, и здесь, в городе, не видно было ни души. И только на площади, где сквозь пыль проступала серая громада кафедрального собора, он встретил вооруженный отряд. Одетые кто во что горазд, шли молодые и пожилые, с остервенением отворачиваясь от ветра.

Впереди шагала худая сердитая старуха в красноармейском картузе и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она поравнялась, Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. Старуха свирепо покосилась на него, не ответила, и весь отряд торопливо прошел, заволокся пылью.

Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать о прибытии парохода с огнеприпасами и передать накладную. Но, черт его знает, где искать этот штаб! Заколоченные магазины, нежилые окна да гремящие железом, вот-вот готовые сорваться вывески. Внезапно Иван Ильич налетел на какого-то военного с повязанной рукой – тот болезненно потянул воздух через зубы и шепотом выругался. Иван Ильич, извинившись, спросил его все о том же. И тут только увидел, что перед ним – Сапожков, Сергей Сергеевич, его бывший командир полка.

– Ну, что ты носишься, как очумелый, – сказал Сапожков. – Ну, здравствуй. – Иван Ильич примерился было обхватить, обнять его. Сапожков отстранился. – Ну брось, в самом деле, держись спокойно. Ты откуда взялся?

– Да, понимаешь, пароход сюда пригнал.

– Вот чудак – жив! Щеки от здоровья лопаются!.. Вот – порода расейская! Тебе штаб нужен? Так вот это и есть штаб. Где остановился-то? Нигде, конечно. Ладно, я тебя подожду.

Он вместе с Телегиным зашел в подъезд каменного купеческого дома и указал на втором этаже штабные комнаты.

– Ванька, я жду, смотри...

Иван Ильич видал штабы и у Сорокина и в армиях Южного фронта, где никогда не найдешь нужную тебе дверь, – все врут, будто уговорились, всюду табачный дым, паническая трескотня машинисток, шнырянье из двери в дверь значительных адъютантов в галифе с крыльями. Здесь было тихо. Он сразу нашел нужную дверь. У пыльного окна, едва пропускавшего свет, сидел дежурный; он поднял костлявое малярийное лицо и, не мигая красными веками, уставился на Телегина.

– Никого нет, штаб на фронте, – ответил он.

– Разрешите связаться с командующим, – груз надо сдать срочно.

Дежурный, с легкостью истаявшего от бессонницы человека, приподнялся и поглядел в окно. Там кто-то подъехал.

– Подождите, – сказал он тихо и продолжал раскладывать на несколько кучек донесения и рапорты, иные написанные такими карандашными загогулинами, что из их содержания можно было понять одно лишь только величие простой и мужественной души.

Вошли двое. Один – в смушковой бекеше, с биноклем через шею и с тяжелой, на сыромятной портупее, кавалерийской шашкой. Другой – в длинной солдатской шинели, в теплой шапке с наушниками, какие носят питерские рабочие, и без оружия. Лица у обоих были темны от пыли. Дежурный сказал:

– Прямой провод на Москву исправлен.

Тот, кто был в смушковой бекеше, моложавый, с круглыми карими веселыми глазами, сразу остановился: «Вот это – отлично!» Другой, в шинели, закиданной землей, вынул платок,

отер худощавое лицо, смахнул – сколько возможно – пыль с черных усов, и Телегин почувствовал на себе пристальный взгляд его блестящих глаз с приподнятыми нижними веками.

– Товарищ к вам с рапортом, – сказал дежурный.

Иван Ильич первый раз видел этих людей, не знал – кто они такие, и несколько замялся.

Дежурный наклонился к нему:

– Говорите, товарищ, это военсовет фронта.

Телегин вынул документы и рапортовал. Услышав, что им только что пришвартован пароход с огнеприпасами, эти люди переглянулись. Тот, кто был в шинели, взял накладную, другой из-за его плеча с жадностью бегал по ней зрочками, и даже губы его маленького рта шевелились, повторяя цифры количества патронов, снарядов, пулеметных лент...

– Сколько у вас команды на пароходе? – спросил человек в шинели.

– Десять балтийских моряков и два полевых орудия.

Они опять переглянулись.

– Заполните анкету, – опять сказал тот же. – К семнадцати часам будьте со всей командой в распоряжении командующего фронтом. – Неторопливым движением он завертел сухо визжавшую ручку телефонного аппарата, соединился с кем-то, вполголоса сказал несколько слов и положил трубку. – Товарищ дежурный, организуйте немедленно как можно больше ломовых подвод. Для разгрузки мобилизуйте рабочих с оружейного завода. Проверьте исполнение и скажите мне.

Оба человека ушли в соседнюю комнату. Дежурный принялся накручивать телефон и сдавленным голосом повторять: «Транспортный отдел... Товарища Иванова. Нет такого? Убит? Давайте другого дежурного. Говорит штаб фронта...» Иван Ильич сел заполнять анкету. Дело было ясное: явиться к командующему – значит, прямо в окопы. Иван Ильич разленился на пароходе, и вот сейчас, поскрипывая цепляющимся за бумагу пером, чувствовал знакомое, столько раз повторявшееся за эти годы волевое движение, когда все, что есть в человеке покойного, теплого, бытового, охраняющего свою жизнь, свое счастье, со вздохом отодвигается, и невидимым разводящим становится другой Иван Ильич – упрощенный, жесткий, волевой.

До пяти часов оставалось много времени. Телегин передал анкету и вышел в коридор. Сапожков быстро поднялся с деревянного дивана.

– Освободился? Пойдем, приткнемся куда-нибудь.

Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Сапожков был все тот же: беспокойный, напряженный, как будто знающий что-то такое, чего другие не знают, только внешне сильно сдал – розовое лицо его стало маленькое, как у моложавого старичка. Телегин объяснил, что – вот такое дело – надо бежать на пристань, собрать команду, выгружать ящики...

– Жаль. Ну, что ж, пойдем на пристань. Я три месяца молчал, Ваня, дошел до того, что в госпитале едва не начал писать «Записки бывшего интеллигента»... И не пью, брат, забыл...

Сапожков весь был потрясен встречей с Иваном Ильичом. Они вышли. Ветер погнал их по улице вниз к потемневшей Волге, махающей длинными пенными волнами.

– Где полк, Сергей Сергеевич? Каким образом ты от него отбилась?

– От нашего полка остались рожки да ножки. Нет больше такого полка в Одиннадцатой армии.

Телегин молча, с ужасом, взглянул на него. Сапожков начал рассказывать, прикрываясь рукой от пыли:

– Кончились мы на хуторе Беспокойном. Известна тебе трагедия Одиннадцатой армии? Главком Сорокин натворил таких дел, – мало ему трех казней, сукиному коту. Скрыл от армии приказ Царицынского военсовета – пробиться на соединение с Десятой армией. Одна дивизия Жлобы выполнила приказ и повернула на Царицын, и то потому только, что Дмитрия Жлобу он хотел расстрелять и объявил вне закона. Представляешь: от Минеральных Вод мы отрезаны, от Ставрополя, где гибнет Таманская армия, – отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил

еще в Тихорецкой... Справа на нас нажимает конница Шкуро, слева – конница Врангеля. И мы уходим на восток, в безводную степь... От полка моего осталась одна рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от противника, пробираемся балочками, жрать нечего, воды нет, ледяной ветер, – будь она проклята, эта степь! Были случаи – человек и конь ооченеют, и засыпает их песком, как скифским курганом... Добрались до хутора Беспokoйного, – ни души, ни куренка, даже собак увели казачишки. А хаты, понимаешь, не заперты, – нараспашку... Ребята и давай пить молоко. Понимаешь? Начали кататься по земле, да уж поздно, – в живых осталось десятка три душ... И тут нас на утренней зоречке, как полагается, окружили с пулеметами и кончили...

Слушая его, Иван Ильич шел все шибче, покуда не споткнулся.

– Ну, а ты как же?

– Черт его знает. Подвезло... Ранили меня в самом начале, – в руку, нерв, что ли, какой-то задело, – потерял сознание... Многое я с того часа начал пересматривать... Покуда валялся кверху воронкой, – бойцы, оказывается, перевязали мне руку, отнесли к омету, закидали соломой... В такой обстановке, видишь ты, позаботились... Утверждаю: нашего народа мы не знаем и никогда не знали... Иван Бунин пишет, что это – дикий зверь, а Мережковский, что это – хам, да еще грядущий... Помнишь, мы в вагоне ночью разговаривали? Я был пьян, но я ничего не забываю. В чем была ошибка: философия-то, логика-то корректируются, как стрельба, видимой целью, глубоким познанием жизненных столкновений... Революция – это тебе не Эммануил Кант!

– Сергей Сергеевич, ну а дальше что было?..

– Дальше-то... Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут песни, – значит, победители уже пьяны. Наткнулся на изувеченный труп, на другой, – все ясно... Поймал лошаденку, ушел в степь, где провел несколько мучительных дней... Подобрал меня конный отряд Буденного, – есть у них в Сальских степях такой всадник... Доставили меня на станцию Куберле и, значит, – сюда. Здесь околачиваюсь в госпитале... Послужной список, документы – все осталось на гумне, в бекеше... Помнишь мою бекешу? Такой теперь не построишь...

– Слушай, и Гымза там же погиб?

– Гымзу мы давно потеряли, вместе с обозом, у него сыпняк бил жестокий...

– Жалко Гымзу.

– Всех жалко, Иван... А впрочем, вру, не жалостью это называется... Привык я к полку, неудобно как-то одному оставаться в живых... Места себе не нахожу, Иван... Ходил в штаб – просить роту хотя бы... Вполне их понимаю, человек я им неизвестный, один воинский билет на руках... Ты уж меня в штабе аттестуй, пожалуйста...

– Ну, о чем говорить, Сергей Сергеевич...

– Хотя самое лучшее – бери меня в отряд, честное слово. Хоть помощником, хоть связистом... Вот сталкивает нас судьба... Помнишь, как у тебя на квартире стихи писали, пугали буржуев? Ничто не проходит даром, все отзывается: пошалил и забыл, – смотришь – а ты уже стоишь перед грандиознейшей картиной, так что волосы встают торчком. Слушай, а помнишь, как я нашел тебя в сарае у немцев? Вот был налет, вот была рубка! Я еще тогда шашку сломал... Это очень хорошо, что мы опять вместе... В тебе, Иван, есть какое-то непроторимое здоровье... Привязался я, что ли, к тебе... Слушай, а где твоя жена?

Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые телеги, рысью прогромыхавшие вниз к пристани.

За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. Над Волгой закрутился редкий снег. Нагруженные телеги, охраняемые вооруженными рабочими, давно уехали. Набережная опустела. Пароход отошел от конторки и, не зажигая огней, пришвартовывался где-то ниже по течению.

Моряки в перепоясанных бушлатах, с гранатами, с вещевыми мешками, с винтовками сидели на конторке за ветром, – не курили, помалкивали. Из рассказов рабочих им уже было известно, что делалось в этом пустынном городе, озаренном мутно-красавым закатом. Дела тут были невеселые.

Иван Ильич ждал конных упряжек для выгруженных орудий, с тревогой посматривал на часы, несколько раз звонил в штаб. Выяснилось: упряжки уже высланы, отряду приказано идти вместе с орудиями прямо на вокзал. Преодолевая наваливающийся на дверь ветер, он вышел на палубу конторки. Перед ним стояла Анисья Назарова.

– Вы зачем здесь?

Она молчала, поджав губы; под его взглядом опустила голову. Ветхая, заплатанная шаль, видимо единственная защита от стужи, была повязана у нее на плечах, за спиной – дерюжный мешок.

– Нет, нет, нет, – сказал Иван Ильич, – ступайте на пароход, Анисья, вы мне в отряде не нужны...

Покуда по сходням скатывали пушки на песок да возились с упряжками, – тучи угасли, и река слилась с потемневшими берегами. Отряд тронулся в город, понукая лошадемок, впряженных в орудия. К Ивану Ильичу подошел Шарыгин и – вполголоса:

– Что нам с Анисьей-то делать? Товарищи просят оставить при отряде...

Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с другой стороны подошел Латугин.

– Товарищ командир, она вроде нам как мамаша. В таких делах, – фронт, знаешь, – добежать, принести чего-нибудь, рубашечку простирнуть... Да она воинственная, только так, с виду тиха. Пристала и пристала, как собачонка, что ты сделаешь...

Анисья оказалась тут же, позади Ивана Ильича, – она шла за отрядом все так же – с опущенной головой. Шарыгин сказал:

– Определим ее сестрой милосердной, без квалификации... Милое дело...

Иван Ильич кивнул: «Правильно, я и сам хотел ее оставить». Латугин побежал опять к орудийному колесу, ухватился за него, гаркнул на лошадемок, выбивавшихся в гору из последних сил: «Но, добрые, вывози!» Песок, сорванный с откоса, обрушился на отряд, закрутился, как бешеный. Наконец колеса покатались по улице. В едва различимых домишках не светилось ни одно окно; страшно выли провода на столбах да громыхали вывески. Иван Ильич шел и усмеялся... «Вот получил урок, шлепнули по носу: эй, командир, невнимателен к людям... Правильно, ничего не скажешь... От Нижнего до Царицына валялся на боку, развесив уши, и не полюбопытствовал: каковы они, эти балагуры... Видишь ты – шагают вразвалку, ветер задирает ленточки на шапочках... Почему Анисьино горе, жалкую судьбу ее, они, не стовариваясь, вдруг связали со своей судьбой, да еще в такой час, когда приказано покинуть легкое житье на пароходе и сквозь песчаные ледяные вихри идти черт знает в какую тьму, – драться и умирать?... Храбрецы, что ли, особенные? Нет, как будто, – самые обыкновенные люди... Да, неважный ты командир, Иван Ильич... Серый человек... Тот хорош командир, кто при самых тяжелых обстоятельствах держит в памяти сложную душу каждого бойца, доверенного тебе...»

Давешний разговор с Сергеем Сергеевичем и этот, как будто незначительный, случай с Анисьей очень взволновали Ивана Ильича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости... В такое время он, видите ли, разъял себе щеки, – даже Сергей Сергеевич это заметил... Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной мысли, – ему вдруг стало жарко, и сердце на секунду будто окунулось в блаженство, – во всем этом подтягивании себя была и тайная мысль: вернуть Дашину былую влюбленность... Но он только фыркнул в налетевший из-за угла пыльный вихрь и отогнал эти совершенно уже неуместные мысли.

На вокзале Иван Ильич получил приказ: немедленно погрузить орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции Воропоново. Приказ передал ему комендант – рослый детина с черными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной растительностью на щеках, вроде бакенбард. Иван Ильич несколько растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец, и не может взять на себя ответственность командовать батареей. Комендант сказал тихо и угрожающе:

– Товарищ, вам понятен приказ?

– Понятен. Но я объясняю же вам, товарищ...

– В данный момент командование не нуждается в ваших объяснениях. Вы намерены выполнить приказ?

«Ох, ты, черт, как тут разговаривают», – подумал Иван Ильич и невольно подбросил руку к козырьку: «Слушаюсь», – повернулся и пошел на пути...

В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-нибудь, – шагай через лежащих вповалку переодетых буржуев, дезертиров, мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный хвост, либо сопит поросенок. Здесь было пусто, даже подметено, хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь и разговаривали по-особенному – коротко, предостерегающе, точно положив палец на гашетку.

Иван Ильич без лишней беготни и без крику быстро получил паровоз и наряд на погрузку. Позвонил в штаб о Сапожкове, и оттуда ответили: «Хорошо, берите его на свою ответственность...» Команда уже грузила орудия на две платформы под раскачивающимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков. Вот Гагин, новгородец, с глубокими морщинами жесткого лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки – «Беспощадный» – на лоб до бровей; вот помор Байков, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, с круглой головой, крепкой, как орех, – балагур и запивоха. Все девять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по круто поставленным доскам, а Байков то тут присядет, то с другой стороны взглянет: «Идет, идет, ребята, поднажми, давай...» Кто-то даже пхнул его коленкой: «Да берись ты сам, чудо морское...»

Вот нижегородец, из керженских лесов, Латугин, с широким, дерзким лицом, ястребиным, должно быть перебитым в драке, носом, среднего роста, силач, умница, опасный в ссоре и «ужасно лютый» до женского сословия... Вот – Задуйвитер...

– Иван Ильич, – к нему подошел Шарыгин, – вы знаете, где это Воропоново?

– Ничего я тут не знаю.

– Да вот тут же, рядом, под самым Царицыном, – здесь и фронт... Белые, говорят, так и ломают... Артиллерии – сила, и танки, и самолеты... Да за войском еще тысяч сто мародеров-казаков едут на телегах.

Шарыгин говорил тихо и возбужденно, синие глаза его блестели, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился:

– Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыгин? – У того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос, он так и остался красным. – Мой совет: поменьше слушайте разных разговоров... Все это паника... Вы позаботились о продовольствии отряда?

– Есть! – Шарыгин подкинул ладонь к бескозырке, чего никогда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хороший, чересчур впечатлительный, – но ничего, обломается. Иван Ильич пошел к товарному вагону, который прицепляли сзади платформ с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков, с мешком и шашкой под мышкой...

– Иван, устроил?

– В порядке, Сергей Сергеевич... Грузись.

Сапожков полез в товарный вагон. Там, в углу, на матросском барахлишке, уже сидела Анисья.

Неподалеку от Воропонова – станции Западной железной дороги – еще до света орудия были выгружены и установлены в расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь Телегин и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Воропоновом строилась линия укреплений, она шла полуподковой всего в каких-нибудь десяти верстах от Царицына, начинаясь на севере, у станции Гумрак, и кончаясь у Сарепты – на юге от Царицына. Эта дуга укреплений была последней защитой. В тылу за ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше – покатая равнина до самого города. Отступить можно было только в Волгу, в ледяные волны.

Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в непроницаемый мрак. Поднялось негреющее солнце. На плоской бурой равнине копошилось множество людей; одни кидали землю, другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали мешки с песком. Со стороны Царицына подъезжали товарные составы, выгружались люди, разбредались, исчезали под землей. Другие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было похоже, что сюда призвано на работы – хочешь или не хочешь – все население города, способное держать лопату...

Одна из таких партий, десятка в полтора разношерстных граждан обоего пола, подошла к расположению телегинской батареи; их привел маленький старенький военный инженер.

– Граждане! – осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из толсто замotanного верблюжьего шарфа. – Ваша задача проста: мне нужно поднять бруствер до четырнадцати вершков, берите землю отсюда и бросайте сюда, до отметки на колышке... Разойдитесь на шаг и – дружно за работу!

Он ободрительно похлопал лиловыми от холода маленькими руками и бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами, полными возмущения. Одна из женщин затрясла круглым лицом ему вдогонку:

– Стыдитесь, Григорий Григорьевич, стыдитесь!

Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один – кадыкастый, большегубый юноша, которому было очень интересно попасть на боевые позиции, – принялся было ковырять землю, но на него сейчас же зашипели:

– Стыдно, Петя, перестаньте сию же минуту...

И все заговорили, обращаясь к человеку с желтым нервным лицом, стоявшему до этого закрыв глаза, слегка покачиваясь; форменное пальто на нем – ведомства народного просвещения – было демонстративно подпоясано веревкой.

– Ну вы-то что же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали вас... Мы ждем от вас...

Он мученически поднял веки, щека его дернулась тиком.

– Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашем Григории Григорьевиче...

В это время с бруствера полетели комья, над выемкой появилась лошадиная морда, катающаяся в зубах удила, и сверху, с седла, перегнулся широкий, краснощекий, бородатый всадник в кубанской шапке. Прищуря глаза, он спросил насмешливо:

– Ну что ж, граждане, не можете договориться – чи работать, чи нет?

Тогда нервный Степан Алексеевич, в пальто, подпоясанном веревкой, выступил несколько вперед и, задрав голову к всаднику, ответил ему с убедительной мягкостью, как говорят с детьми на уроках:

– Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю... («Эге». – Всадник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня, сторожившегося над обрывом.) Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на основании каких-то никому не ведомых списков, выражаем наш категорический протест...

– Эге, – повторил, но уже с угрозой, бородатый всадник.

– Да, мы протестуем! – Голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. – Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, рыть для вас окопы... Ведь это же худшие времена самоуправства!.. Вы совершаете насилие!..

Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым желтым лицом... Всадник глядел на него прищурясь, – большие ноздри у него задрожали, рот сложился твердо, прямой, как разрез. Он слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал:

– Совершенно точно: мы вас принуждаем оборонять Царицын, если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает?.. А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь.

Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная, круглолицая женщина торопливо подала ему лопату и уже все время не сводила с него изумленных глаз.

– Зачем нам ссориться, это же чистое недоразумение. – Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх, на бруствер. – Мы воюем, вы нам подсобляете, враг у нас один... Казачки же никого не пощадят, – с меня сдерут кожу, а вас перепорют поголовно, а которых порубят шашками...

От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглянул стоящих: «А ну, – и хлопнул по плечу кадыкастого юношу и другого – миловидного, глуповатого, с соломенными ресницами, – а ну, покажем, как надо работать». Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать; за ними, пожав плечами, взялось за лопаты еще несколько человек. Круглолицая дама сказала: «Ну, позвольте уж и я», – и споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, должно быть, сильно тиснул, – она раскраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве.

– Позвольте, позвольте, – сказал он высоким голосом, – но революция и – насилие, товарищи! Революция прежде всего отвергает всякое насилие.

– Революция, – раскатисто ответил бородатый начальник, – революция осуществляет насилие над врагами трудящихся, и сама осуществляется через это насилие... Понятно?

– Позвольте, позвольте... Это антиморально...

– Пролетариат только для того и совершает над вами насилие, чтобы освободить весь мир от насилия...

– Позвольте, позвольте...

– Нет, – твердо сказал начальник, – не позволю, вы начинаете озорничать, это саботаж, берите лопату... Товарищи, я, значит, могу надеяться – к одиннадцати часам бруствер будет готов. В добрый час, до свиданья...

Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник артиллерии Десятой армии уехал, они пошли к интеллигенции – подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм.

4

Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны хорошо снаряженной и сформированной по-регулярному Донской армии. У Мельшина в полку люди были измотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха. Красновские казаки хорошо знали каждый овраг, каждую водомоину в этих степях и оттесняли противника в такие места, где было удобно его атаковать. На рассвете их стрелковые части начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни пробирались оврагами и балочками во фланги и неожиданно накидывались с яростью, свистом, воем.

Мельшин говорил бойцам: «Выдержка, товарищи, – это главное. Единодушие – это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся, смерть нам легка. А казак удал, да жаден, – ему добыча нужна, жизни он терять не хочет, и больше всего ему жаль коня».

Рота Ивана Горы шла в арьергарде, прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненые. Оставить их было нельзя и негде: станичники в плен не брали, – уцелевших после боя всех, на ком красная звезда, раздевали донага и рубили – и с верха и пешие; натешась, отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву.

Ни в какие времена на Дону не слышали такой бешеной ненависти, какая поднялась в богатых станицах Вешенской, Курмоярской, Есауловской, Потемкинской, Нижне-Чирской, Усть-Медвединской... Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, а в иные станицы – и сам атаман Краснов; колокольным звоном собирали «Круг спасения Дона» и, по старинному обычаю снимая шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вдеть ногу в стремя: «Настал твой час, вставай, вольный Дон... Грозной казацкой тучей двинемся на Царицын, уничтожим проклятое гнездо коммунистов, выметем с Дона красную заразу... Не хотят они, чтобы Дон жил богато и весело! Хотят они увести наши табуны и стада, земли наши отдать пришлым тульским да орловским мужикам, жен наших валять по своим постелям, а вас, – станичники, богатыри, соль земли Донской, – послать в шахты навечно... Не дайте ободрать храмы божи, стойте за алтарь нашей родины. Не пожалейте жизней... А уж атаман Всевеликого Войска Донского отдаст вам Царицын на три дня и три ночи».

Ротный командир Иван Гора, длинный и сутуловатый, с лицом, почерневшим от бессонницы, привык за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам, узнал их повадки и не клал цепь без толку, велел бойцам идти не оборачиваясь.

Впереди двигался обоз – тесно, ось к оси; позади шла цепь тяжелой развалкой – ободравшиеся, осунувшиеся, глядящие под ноги бойцы. Последним шагал Иван Гора, как опоенный. Еще полгода тому назад был он могучим человеком, но сказывалось ранение в голову, когда этим летом на продрозверстке его рубили топором в сарае, сказывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, то на ходу начинал задремывать; перед мутнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание, – люди в летних сумерках сидят на бревнах, над головами летает мышь... Или – зеленый подорожник, на нем ситцевая подушка, на ней смеющаяся Агриппина... Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плече винтовку, разевал тяжелые веки, оглядывал идущих людей, телеги с мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу, – шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба, плывет бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается... Споткнувшись, встряхивал носом... Эх, хорошо сейчас идти за телегой, положив руку на грядку, – минутку подремать, передвигая ноги!

– Вот – опять! Съезжаются на краю степи малюсенькие всадники, и оттуда – выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные.

– Прибодришь, товарищи, внимание! Эй, в обозе, не спать!..

В обозе ехала Агриппина, жена его, раненная в руку. Там же за одной из телег шли Даша и Кузьма Кузьмич.

В темноте начались протяжные крики. Обоз остановился. Даша сейчас же привалилась к обочине телеги, положила голову на руки. Сквозь забытие она слышала, как подошел Иван Гора и негромко заговорил с Агриппиной, сидевшей в той же телеге:

– Покурить бы, с ног валюсь.

– Почему остановились?

– До пяти часов – отдых.

– Кто тебе сказал?

– Проезжал вестовой.

– Положи ко мне головушку, Ванюша, поспи.

– Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши – как где стоял, там и повалился... Ты чего не спишь, Гапа, рука болит?

– Болит.

Телега слабо заскрипела, – он привлек к себе Агриппину. Глубоко, как усталая лошадь, вздохнул.

– Вестовой говорит: ох, и силы у него переправляется через Дон под Калачом да под Нижне-Чирской! За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаки пьяные, чистые мясники...

– Поешь хлебца, Ванюша.

Он медленно начал жевать. С трудом глотая, неясно проговорил:

– Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром, казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй.

Телегу опять качнуло, – Иван Гора отвалился и ушел, тяжело топая. Все затихло – и люди, и лошади. Даша дышала носом в рукав... Все бы, все отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце! О чем раньше думала? Чего ждала? Любимый, дорогой был рядом, – просмотрела, потеряла навек... Зови теперь, кричи: Иван Ильич, Ваня, Ванюша...

...Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было так холодно, что Даша, стуча зубами, задышала на пальцы.

– Дарья Дмитриевна, берите сумку скорее, идем, раненные есть...

Выстрелы раздавались внизу по реке, гулкие в утренней тишине. Даша с трудом поднялась, она совсем отупела от короткого сна на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную повязку, побежал вперед, вернулся:

– Переступайте, душенька, бодрее... Наши тут, неподалеку... Не слышите – где-то стонет? Нет?

Забегая, он останавливался, вытягивая шею, всматривался. Даша не обращала внимания на его суетливость, только было противно, что он так трусит...

– Душенька, пригибайтесь, слышите – пульки посвистывают?

Все это он выдумывал, – не стонали раненные, и пули не свистели. Свет зари разгорался. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым прибрежным тальникам лежал густой, низкий осенний туман. В нем, как в молоке, по пояс стоял Иван Гора. Подальше – боец в высокой шапке и – другой и третий, видные по пояс. Они глядели на правый – высокий – берег Дона, куда не доходил туман. Там, за черными зарослями, поднималось в безветрии множество дымок.

Увидел их и Кузьма Кузьмич, – будто захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза:

– Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается! Это же грабить приехали за армией – сто тысяч телег... Это же Батый, кочевники, половцы!.. Видите, видите – кони рас-

пряженные, телеги... Видите – у костров лежат – бородатые, с ножами за голенищами... Да глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни такое приснится...

Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников, лежащих у костров... Все же ей стало жутко... Иван Гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал:

– Это показать бы да нашей интеллигенции. А? Это – сон нерассказанный... Вот тебе, конституции захотели! Русским народом управлять захотели... Ай, ай, ай... Побасенки про него складывали – и терпеливенький-то, и ленивенький-то, и богоносный-то... Ай, ай, ай... А он вон какой... По пояс в тумане стоит, грозен и умен, всю судьбу свою понимает, очи вперил в половецкие полчища... Тут такие силища подпоясались, натянули рукавицы, – ни в одной истории еще не написано...

Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван Гора повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва, и сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдаленные крики, и – снова зачастили выстрелы.

– Ей-богу, паром подожгли наши на том берегу, – Кузьма Кузьмич высовывал голову из тумана, – ох, резня там сейчас, ох, резня!

Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман, редая, шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздались такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам, Кузьма Кузьмич лег ничком.

Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных гранат.

Затем из зарослей появился Иван Гора. Он шел, заглатывая воздух, тяжело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато в руке он нес два казацких картуза с красными околышками. Подойдя к Даше, сказал:

– Пришлю носилки, и вы бегите к воде, – перевязать надо двоих товарищей...

Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб.

– Обойти нас хотели, сволочи, на лодках... Идите, не бойтесь, там всех кончили...

5

Шумели берега Дона между станицами Нижне-Чирской и Калачом, – по трем плавучим мостам, на паромах и лодках переправлялись конные и пешие полки Всевеликого Войска Донского. В походном строю шли конные сотни в новых мундирах, в заломленных бескозырках с выпущенными, по обычаю, на лоб чубиками, воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брызгала меж мостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо косившихся на серый Дон.

Плыли поперек реки длинные лодки, нагруженные пехотинцами – безбородой молодежью; разинув рты, озирались они на невиданное скопление казаков, коней, телег; выпрыгивали из лодок в воду, карабкались на обрывистый берег, строились – ружье к ноге, – срывали шапки; дьяконы со взвывающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами, протопопы, подобные золотым колоколам, в ризах с пышными розами, благословляли воинство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.